

Инна Герасименко

Τὸ σύμβολον платоновского текста:
пути к преодолению раскола (часть 1)*

INNA GERASIMENKO

Τὸ σύμβολον OF PLATO'S TEXT: WAYS TO OVERCOME THE SPLIT (PART 1)

ABSTRACT. Plato's philosophical language is a problem that hasn't lost its relevance to the present day. The indissoluble blend of "philosophical" and "poetic" components in his texts compels to look for new ways of reading that could allow to keep track of semantic nuances shaped by the formative potential of the language used by the writer. The paper outlines ways of looking at Plato's text in connection with morphological features of the Ancient Greek language aiming at detection of its true shape (*morphe*). KEYWORDS: Plato's language, text, shape-*morphe*, analytical type, synthetic type, article (grammar), morphology, syntactic functions, integrity, token.

Философия Платона неизменно провоцирует интерес к себе как со стороны исследователей мысли, так и со стороны исследователей слова, — провоцирует, но оставляет чувство неудовлетворенности у каждой из сторон. «Расколы» Платона (Большой/Малый, писанный/неписанный, философский/литературный) [Аверинцев 2001: 14–15] намечают наличие другого измерения, неизбежной погрешности, которую невозможно устранить, но о которой можно себе позволить не беспокоиться. Мыслителей вполне устраивает миф о предсуществующей «системе» Платона, спрятанной за «литературными излишествами» [Васильева

© И.А. Герасименко (Харьков). inna.gerasymenko@gmail.com. Фонд «Центр гуманитарных исследований» (Москва).

* Особая благодарность моему другу и замечательному филологу М.И. Донской за неоценимую помощь в работе над «Пиром».

1985: 82–83], литературоведы и переводчики говорят о поэтической ценности диалогов, о недопустимых упрощениях переводов и особенно хрестоматийных пересказов этих текстов в попытках воссоздать «учение» Платона, однако не видят возможным сделать все это языково-смысловое богатство частью собственно платоновской философии. Таким образом, разговоры о языке Платона и о философии Платона — извечно разные разговоры (ср. соответствующие рассуждения Лосева¹). Возможно ли в принципе вести разговор о Платоне без вмешательства скальпеля? Возможно, подсказки следует просить у языка этих текстов.

Разумеется, данная проблема требует столь глубокого в нее погружения, что осуществить его в рамках одной статьи совершенно немыслимо. Поэтому в данном тексте имеет место скорее попытка введения в исследование платоновской мысли исходя из особенностей языка — наметка маршрута. Собственно же текстовый (морфологический, в широком смысле) анализ станет темой статьи-продолжения.

Можно сказать, что история европейского языкознания в целом развивалась от начальной позиции, где язык и мышление виделись едиными, а акцент при этом делался на мышлении, к позиции конечной, где язык и мышление опять-таки виделись едиными, вот только акцент сместился на язык.

Рационалисты полагали, что мысль формируется без участия языка, и слова — просто ярлыки для готовых понятий. Эмпирики считали, что операции рассудка полностью зависимы от знаков. При этом сторонники обоих подходов равно успешно промахивались мимо языка: рационалистский подход мешал увидеть языковую специфику обращения со смыслом, а эмпирико-сенсуалистский препятствовал разглядеть язык за завесой чувственных впечатлений.

¹ Лосев 1993b: 658.

В. фон Гумбольдт впервые предпринял попытку рассмотреть язык всеохватно, как со стороны выражения им мысли, так и со стороны выполнения социальных функций. Эту двойственность в единстве, по Гумбольдту, обеспечивает внутренняя форма языка — промежуточная и оборачиваемая.

По общепринятому мнению, лишь начиная с XVIII в. в философии и лингвистике появились мысли о том, что люди «привыкли постигать вещи тем способом, каким эти вещи выражены на родном языке» [Кондильяк 1980: 168], что человек «живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [Гумбольдт 2001: 80] и что «вещи, качества и события вообще воспринимаются так, как они называются» [Сепир 1993: 227].

При этом, однако, язык предстал в самых различных своих модусах: если, скажем, согласно Гумбольдту, «закономерностям природы сродни закономерность языкового строя» [Гумбольдт 2001: 81], то есть язык отнюдь не лишается своей онтологической укорененности, то начиная с Соссюра «естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], поскольку «язык и письменность *НЕ ОСНОВАНЫ* на естественном положении вещей» [Соссюр 1990: 94], то есть имеют всецело социальную природу: «“Реальный мир” в значительной мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы», а значит, «миры, в которых живут различные общества, — это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками» [Сепир 1993: 261].

Гораздо более строго в смысловом отношении была осознана внутриязыковая дизереза *лексических* и *грамматических* значений (обнаруживаемая уже у стоиков, которые в своем понимании *лектон*, по мнению И.А. Перельмутера, «близко подошли к понятию грамматического значения» [Перельмутер 1980: 204]). Причем идиоэтническое (то есть отличное от общелогических конструкций) начало, обнаруживаемое на первых порах лишь в области лексики, со временем (а именно, начиная с Э.Б. де Конди-

ляка и И.Г. Гердера) распространилось и на грамматику: «Грамматические различия языков заключаются в различии грамматических видений», и, более того, в целом «грамматика более родственна духовному своеобразию наций, нежели лексика» [Гумбольдт 2001: 20–21]. А уже в разработках Г. Штейнталя и А.А. Потебни [Потебня 1976: 259] в принципе вся содержательная сторона языка, включая грамматику, признается сугубо идиоэтнической.

Совершенно очевидно, что тип мышления вообще и философствования в частности не только не свободен от влияния языковой системы, но во многом обусловлен именно ею. Именно эти, рожденные языком особенности зачастую невидимы для самих мыслителей, в соответствии с наблюдением Витгенштейна о глобальном разделении поля мышления на то, «что может быть выражено (сказано) фразами — т.е. языком — (и, что сводится к тому же, что может быть *помыслено*) и что не может быть выражено фразами, а только показано (*gezeigt*); что, по-моему, составляет основную проблему философии» (цит. по: Бибахин 2005: 150). Но, по утверждению того же автора, «невыразимое — невыразимо — содержится в высказанном!» (цит. по: Бибахин 2005: 148).

Разумеется, особенности зарождения философии и ее языка (по Аверинцеву, «терминологичность *in statu nascendi*») в первую очередь (и вполне обоснованно) ищут в особенностях греческой культуры, где поэтический язык предшествовал прозаическому, где каждому литературному жанру соответствовал определенный диалект (что просто-таки вынуждало новый вид говорения — философию — к выработке своего собственного «диалекта»), где поэзия, с одной стороны, оставляла свои следы в прозе, за счет приемов ее организации, а с другой — оставалась словесным сопровождением музыки. Исследователи говорят о необычности и «праздничности» (по Хайдеггеру, «абстрактное мышление как праздник») как средстве позиционирования философии, о «языке мастерских», адаптируемом к философским нуждам за счет

новой постановки вопросов при переходе от φύσις досократиков к ποιήσις платонической традиции, о «зоне метафоры» («эйкон», развернутая метафора, вместо досократического символа), где нарастает напряжение платоновского слова между статическими полюсами бытового слова и термина, а также о тропах, каламбурах и звуковой игре как основных принципах организации платоновской речи, но... Открытыми остаются вопросы: что вынудило Платона именно к такой, а не иной манере философствования? Так ли уж велика пропасть между до- и постсократиками? И почему вопрос о сущности (знаменитое сократовское τί ἐστὶ; «что есть?») всякий раз оказывается чреват внутрисловными морфологическими изысканиями?

Возможно, хотя бы общую канву того, что невыразимо содержится в философском тексте, следует искать в самых общих особенностях языка его написания. Попробуем посмотреть на основные закономерности, задаваемые языковой группой.

Вот как, на мой взгляд, выглядит типология основных языковых групп в их связи с типами философствования

1. Языки *аналитические* отличаются установкой на логичность, аналитизм мысли и *возможность однозначного универсального языка* (исключающего индивидуальные различия и вариативность).

Если пренебречь вопросами практического применения, то по сути дела логик должен сказать, что лишь в силу простой исторической случайности вы и я с рождения должны были усвоить немецкий или английский язык, а не такой язык, синтаксические правила которого логически более просты и последовательны, как это имеет место в языках существующих ныне логических систем... Разница между формализованным языком отнюдь не является принципиальной, но состоит лишь в степени точности, достигаемой установлениями явных синтаксических и семантических правил, и устранением неясности и неопределенности².

² А. Чёрч, цит. по: Кюнг 1999: 31–32.

Однако стоит заметить, что данное направление сложилось и «расцвело пышным цветом» на базе *языков аналитического типа* (во Франции, Великобритании, позднее США). К слову сказать, именно английский язык и оказывается, по мнению универсалистов, наиболее совершенным (логичным) из естественных языков³. Аналитизм, тем самым, связывается с «прогрессом» языка, иными словами, с ростом рационализации, и оказывается наиболее удобным для мыслителей, убежденных в наличии «чистого» (внеязыкового) смысла; или же — формирует сам тип таких мыслителей.

Любое языковое явление можно рассматривать либо извне, либо изнутри, исходя из его внешней формы или из его внутреннего значения. В первом случае мы начинаем со звучания (слова или какой-либо иной части языкового выражения), а затем переходим к значению, связанному с ним. Во втором случае мы отправляемся от значения и задаем себе вопрос, какое формальное выражение это значение находит в данном конкретном языке [Есперсен 2006: 32–33].

Первому случаю соответствует морфология, второму — синтаксис. В ситуации поиска синтаксически заданной логической «канвы» выбор осуществляется по оси селекции, то есть парадигматически; в формальном исследовании — по оси комбинации (иными словами, синтаксис в большей степени ориентирован на «логику», а морфология — на «поэтику»):

Если при подходе $\Phi \rightarrow Z$ расположенными вместе оказались омофоны, то теперь [при подходе от значения к форме, $Z \rightarrow \Phi$. — И.Г.] рядом следует разместить синонимы [Есперсен 2006: 33].

Таким образом, для данной группы языков и данного типа философских текстов характерны установки на: *предельную раци-*

³ Напомню, что в языках аналитического типа грамматические (формальные) показатели выражаются отдельными служебными, или вспомогательными, единицами, а также упорядоченностью на линейно-синтагматической шкале, то есть синтаксисом.

ональность/логичность (отсутствие «лишних сущностей»), *универсализм выражения* (отсутствие «избыточных деталей, затемняющих смысл») и *коммуникативную легкость и однозначность* (отсутствие варибельности на всех уровнях сообщения и максимальная «прозрачность» последнего).

2. *Флективные, или синтетические языки* формируют совсем иной тип философствования:

Вытанцовывать мысль, а не пыхтеть под бременем несения серьезности ее; мыслить ритмически и *эвритмически*; имажинативно говоря, быть не верблюдом мысли, а танцмейстером ее, ибо мысль [...] не в меньшей степени нуждается в хореографии, чем в логике [Свасьян 2001: 18].

Эти слова могут быть отнесены и к досократикам, и к Ницше, и к Платону, и к Гете, и ко многим другим мыслителям, одним из которых «повезло» войти в штат официально признаваемых философов (как Ницше или Хайдеггер), другим отвели место в «госпитале для неудавшихся поэтов» (подобно автору данного высказывания Новалису или, скажем, Гете), а участь третьих (имеющих слишком большую значимость в историко-философском смысле, чтобы их можно было игнорировать, но пишущих «излишне поэтично») наиболее печальна: их тексты удобнее было подогнать под сложившиеся штампы «рациональной» и «научной» философии, чем подыскивать иные методы постижения смысла, выраженного в этих текстах, — методы, адекватные именно *этим текстам*. Больше всего пострадали в этом отношении тексты греческих авторов — в первую очередь, Платона и досократиков.

Адекватное прочтение данных текстов возможно лишь с оглядкой на «свой особый покров» (Бенвенист) языка их написания (в данном случае, древнегреческого), поскольку, по мнению Уорфа, грамматика сама формирует мысль. Именно свойства грамматической системы языка «в конечном счете выражаются в особенностях структуры логических или математических построений» [Уорф 1960: 186]. И если тип синтаксиса небезразличен

для типа логического мышления⁴, то тип морфологии определяет сам способ смыслообразования и смыслоизменения; анализируя универсальные категории Аристотеля (субстанция/сущность, количество, качество, отношение, место, время и т.д.), Бенвенист приходит к выводу, что они «являются прежде всего языковыми категориями и Аристотель, выделяя их как универсальные, на самом деле получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит» [Бенвенист 1974: 107].

Поскольку же эти морфологические (в широком смысле) особенности языка, с-казывающиеся (в хайдеггеровском смысле) в текстах, написанных на данном языке, как раз и образуют область индивидуации, которая в принципе подлежит только комментирующему — с позиций метаязыка — переводу, постольку

вопрос об универсальной морфологии никогда не возникал; ясно, что реально существующие формативы, так же как и их функции и значение, бывают настолько различными в разных языках, что все, относящееся к ним, приходится излагать в грамматиках конкретных языков, за исключением разве нескольких общих положений о фразовом ударении и интонации. Только в отношении синтаксиса наблюдалась тенденция отыскать нечто общее для человеческой речи в целом, нечто, непосредственно основанное на самой природе человеческого мышления, иначе говоря, на логике, и поэтому стоящее выше случайных форм, существующих в том или ином конкретном языке [Есперсен 2006: 55].

В таком случае, если логика обретается в области синтаксиса, то область индивидуальной конструкции языка/текста отводится морфологии (языка/текста).

⁴ Тот же автор, сравнивая взаимоотношения составляющих элементов в предложении, с одной стороны, в полисинтетических индейских языках (напоминают химические соединения), а с другой — в аналитическом английском и других индоевропейских языках («механическая смесь»), констатирует, что в основе традиционной для носителей индоевропейской логики Аристотеля лежит механистическое мышление (Уорф 1960: 187–189).

Морфологическое исследование греческих текстов, быть может, способно также переартикулировать извечный вопрос о специфике философского текста (шире — философии как таковой, учитывая, что этот неповторимый в своей уникальности и несводимый к прочим видам «мудрости» феномен зародился в условиях именно греческого языка). И особую важность в этой связи может приобрести тот факт, что данный язык занимает *промежуточное* место на шкале синтетизма/аналитизма (то есть, если следовать логике Кондильяка, является «наиболее совершенным»):

В синтетических языках отношения между словами выражаются формами самих слов, внутри слова, в аналитических языках — за пределами слова, либо порядком слов и использованием отдельных вспомогательных частиц (служебных слов), либо путем приклеивания (агглютинации) служебных частиц к полнозначным словам. В греческом языке начали развиваться оба эти способа [Широв 1983: 135].

Иными словами, двойственная природа Логоса (как смысла и как слова) сама сформировала для себя условия полагания, которые не могут быть «схвачены» иначе, нежели специфически философскими средствами: специфически — поскольку, обращаясь к самому сообщению (по Якобсону), эти средства направлены на «перехват» его собственно-языковости, или поэтичности, то есть не только не ограничивают цель исследования «логической канвой» текста, но ставят под сомнение инерционное принятие на веру этого «общепризнанного смысла».

3. Что же касается *агглютинативного* языкового типа (и соответствующих ему текстовых феноменов), то в той или иной мере его приемы используются как в «аналитической», так и в «синтетической» традиции философствования. Если аналитический тип ориентирован, в первую очередь, на интересы адресата, синтетический — фокусирует внимание на самом тексте, в принципе не будучи «озабочен» удобством коммуникации, то агглютинативный тип наиболее удобен для отправителя — адресанта, поскольку позволяет оперировать набором однозначных (в смысле

первичного языкового членения) формантов для передачи желаемого сообщения (не «отвлекаясь» ни на проблемы «глубины»/внутренней формы/эстетичности выражения, ни на необходимость «отточности» формулировок). Превалирование этого типа наблюдается, по преимуществу, в квалификационных работах (как-то дипломы, диссертации, «проходные» статьи и монографии), иными словами, там, где философский текст вынужден к орудийности, направлен на достижение служебных, внефилософских целей. Рискну предположить, что «агглютинативные» философские тексты формируются в случае, когда особенности языка, родного для философа, оказываются вторичными в силу устремленности к чужой языковой/мышленческой модели: собственный язык и желаемый образец вступают здесь в некое противоречие, приводя в итоге к созданию текста не столько органической, сколько «конструкторской» формы.

Разумеется, говоря о языковой типологии и ее влиянии на тип философского письма, я вовсе не имею в виду наличия некоего однозначного соответствия между этими феноменами. Данный вопрос нуждается в гораздо более детальном осмыслении, нежели это возможно в рамках статьи.

Несомненно, тот факт, что язык философии изначально оказался в переходной зоне между языком строго референционным и собственно поэтическим, обусловил особое отношение к слову и к обращению с ним. Но и слово это должно было быть особым — умеющим рассказать обо всем, *как оно само по себе есть*, или — поскольку уж речь идет о форме (морфология, со времен Гете — наука о форме и ее превращениях) — показать его ὅκως ἔχει. В этом и помогает формообразующая тайна языка.

В качестве «слова», демонстрирующего единящую силу языка (подобно греч. λέγειν), Хайдеггер предлагает «с-каз» (das Sagen): «О-существляющий сказ выносит присутствующее из его

собственности к яви» [Хайдеггер 1993: 272]. Отечественный исследователь предлагает, в свою очередь, русскоязычный коррелят уже этому «сказу»:

Можно предложить иное слово, коннотации которого в русском языке позволяют лучше передать единство отношений (трансценденций) языка. Этим словом является «выражение», которое подразумевает и речевое выражение, и выражение смысла, и выражение лица. Для человека это будет выражение его мысли, для бытия это будет выражение смысла бытия сущего, для Другого это будет собственно речевое выражение, а для вещей это будет имя как «выражение их лица». Выход изнутри наружу, из собственности в явленность образует движение смысла этого слова [Ячин 2006: 15].

Выражение смыслового лика вещи, дающее аванс подвижности этого смысла, — это особая *форма*. В Новое Время о подобной форме впервые заговорил Гете, в традиции же древнегреческой философии речь о ней заходила довольно часто (видимо, потому, что эта форма (μορφή), как философский конструкт, была рождена именно греческим языком — и стала выражением собственно греческого языкового лика).

Слово λόγος происходит от λέγειν. [...] Λέγειν означает не просто создавать и произносить слова: смысл λέγειν — это δηλοῦν, делать открытым, а именно то, о чем ведется речь, и то, как об этом должно говориться. *Аристотель* определяет смысл λόγος точнее: как ἀποφαίνεσθαι — *позволение видеть нечто в нем самом, и именно — ἀπό — из него самого*. В речи, если она подлинна, то, что говорится — ἀπό, — должно быть почерпнуто из того, о чем говорится, так, чтобы речь-сообщение в своем содержании, в том, что она говорит, делала то, о чем она говорит, открытым и доступным для других [Хайдеггер 1998: 91].

Хайдеггер, тем самым, укореняет в европейской философии *античное отношение* к языку — отношение, ставящее под вопрос и языкознание, и философию, меняющее ракурс рассмотрения

и оттого делающее видимым то, что взглядом и мыслью более поздних эпох по инерции пропускалось.

В этом пропуске (расколе между мыслью и чувственностью, лекарство от которого будет позднее искать Кант под именем *схемы*) собственно и зародилась философия Нового Времени. Пропуск заметил Хайдеггер. Упрекая Декарта в просматривании бытия и мира, он, по сути, уличает того в отсутствии косвенного взгляда, ибо в анфас ни мир, ни бытие не видимы. Бытие не предстает как сущее, «есть» различается в зависимости от субстанции, говорит Декарт. Поскольку же в европейской мысли Нового Времени бытие смешивается с сущим (онтическое принимается за онтологическое), субстанция тоже раскалывается надвое. И за этими двузначностями, говорит Хайдеггер, надо пройти *правильным образом* — в целях разработки проблемы бытия:

Для ее разработки необходимо *правильным образом* «пройти следом» за двузначностями; пытающийся сделать нечто подобное не «занимается» «чисто словесными значениями», но должен вторгнуться в исконнейшую проблематику «самих вещей», чтобы вывести на чистоту подобные «нюансы» [Хайдеггер 2002: 95].

Что означает — *пройти правильным образом*? Очевидно, дело здесь не сводится только к значениям, то есть к *семантике*, или только к функции, то есть к *синтаксису*. Этот «правильный образ» намечен еще платоновскими диалогами, это — путь *морфологических* изысканий.

Отправной точкой этих изысканий становится, однако, синтаксис. О чем, по сути, говорит Декарт? *Субстанция* (substantio) — это калька с греч. ὑπόστασις, то есть «подлежащее». В грамматическом смысле подлежащее (subiectum) — такая синтаксическая позиция, которую может занимать либо имя существительное, nomen substantivum (имя существующее, осуществляющее), либо что угодно еще (то есть любая часть речи или синтаксический

оборот), подвергнувшееся предварительной процедуре субстантивации. Подлежащее ни от чего не зависит, оно самодостаточно, тогда как все остальное в предложении зависит от него. При этом оно может быть *логическим* и *грамматическим*, и эти его ипостаси отнюдь не обязательно совпадают в одном и том же слове.

Сказуемое — *praedicatum*, то, что говорится о подлежащем, — обязательно включает в себя глагол, действие. Глагол можно *субстантивировать* (о-существовать) и превратить в имя, но тогда он перестанет *действовать* — действовать в соответствии со своей парадигмой изменений (время, лицо, число, наклонение, залог), начав взамен подчиняться именной (род, число, падеж). При этом морфологическим (внутренним) изменениям будет подвержен только *артиклъ* (в тех языках, где он есть): сама словоформа застынет в неподвижности. Таким образом, морфологические превращения (а артиклъ является именно морфологической категорией) определяют, быть или не быть слову подлежащим, иными словами, *субстанцией*. И в данном случае, превращения поручаются как раз ему — артиклю, самой, пожалуй, неприметной (не фокусирующей на себе *прямого взгляда*) языковой единице.

Однако эта неприметность иллюзорна. В древнегреческом языке, в условиях которого оформлялись основные категории европейского мышления, артиклъ играет огромную роль. Именно он, на мой взгляд, *показывает*, как формируются смыслы в условиях языка со множественной манифестацией грамматических значений, со словесно-парадигматической словоизменительной моделью, с идеей о словесной предметности — *лектон*. Иначе говоря, на примере артикля можно рассмотреть, как в данном языке формируются единичности — сгустки смысла, отнюдь не ограничивающиеся словоформой. Иное дело, что этот очерчивающий жест в тексте зачастую выполняется и без посредства артикля, но именно этот последний служит маркером происходящего, делает видимым сам процесс очерчивания.

Особость артикля в греческом неслучайна: это единственный язык флективного типа, где имеется такой языковой феномен

(присущий, вообще-то, языкам аналитическим). Можно предположить, что именно факт наличия артикля в значительной мере обусловил успешность развития греческой философской терминологии — за счет открывшихся неограниченных возможностей субстантивации.

Функции артикля подразделяются на несинтаксические и синтаксические, что указывает на связь данного служебного слова либо только с именем, либо — со словосочетанием и предложением. Имея лишь грамматическое значение, это служебное слово, тем не менее, является и носителем переменчивого лексического значения — будто бы принимает на себя отблеск значения детерминируемого им языкового сегмента. Можно назвать артикль морфологическим «орудием удаленного действия» имени, способным объединивать крупные сегменты текста. Если такой сегмент наделяется характеристиками существительного, объединивание называют субстантивацией. При этом функции артикля субстантивацией не исчерпываются: данное служебное слово оказывает не только «цементирующее» действие, но и обеспечивает большую маневренность синтаксиса, что вообще-то для синтетических языков не очень характерно.

Остановимся коротко на характеристике функций артикля, примеры которых можно встретить в «Пире».

1. Оформление согласованного или несогласованного определения при имени существительном.

а) *В обычной атрибутивной позиции*, где определение располагается между артиклем и определяемым существительным:

τὴν ἄλλην ἀρετὴν [Smp. 209a] — согласованное определение.

αἱ ὑπὸ πάσαις ταῖς τέχναϊς ἐργασίαι [Smp. 205c] — несогласованное определение.

Занимая такую позицию, артикль может оформлять весьма распространенные определения со сложной внутренней структурой:

ἡ γάρ τοι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν ἰόντι ὄψωϋν αἰτία πᾶσα ἐστὶ ποιήσις [Smp. 205b].

б) В *эмфатической атрибутивной позиции*, где определение располагается после определяемого существительного, а артикль используется дважды: перед существительным и после него. Данная позиция способствует акцентуации определения, наделяя его особой экспрессивностью:

ἡ ὁδὸς ἡ εἰς ἄστῃ [Smp. 173b].

Артикль способен и на двойное оформление — на объединенное использование эмфатической и атрибутивной позиций в отношении одного и того же существительного:

τούς ἄλλους ποιητάς τούς ἀγαθοὺς [Smp. 209d].

В подобных случаях артикли могут разъединяться другими членами предложения, не имеющими отношения к собственно сочетанию существительного с определением:

ἀλλὰ γάρ τῷ ὄντι μάλιστα μὲν ταύτην τὴν ἀρετὴν οἱ θεοὶ τιμῶσιν τὴν περὶ τὸν ἔρωτα [Smp. 180a–b].

Досл. пер.: но на самом деле больше всего эту добродетель боги ценят, эту связанную с любовью [добродетель].

Здесь между двумя элементами атрибутивной конструкции расположены субъект и тот предикат, от которого зависит данная конструкция. Ш. Балли именуется данное явление *разъединением*, утверждая, что по сравнению с новыми языками «еще большую роль играло разъединение в классических языках и, возможно, первоначально в индоевропейском языке; оно очень резко подчеркивает синтетический характер этих языков» [Балли:

187]. Следствие такого разъединения, по мнению того же автора, — «установление и закрепление автономии отделенных таким образом друг от друга знаков» [Балли 1955: 187]. Артикль же, занимая такую позицию, облегчает понимание структуры предложения и указывает на связь между двумя отделенными друг от друга частями атрибутивной конструкции.

с) В *предикативной позиции*, где определение располагается либо по схеме «определение — артикль — существительное», либо «артикль — существительное — определение (без второго артикля)».

Следующий пример демонстрирует оба положения:

ἀνάρμοστον δ' ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ θείῳ, τὸ δὲ καλὸν ἀρμόττον [Smp. 206d].

При линейном расположении логических элементов структура выглядела бы следующим образом:

τὸ αἰσχρὸν ἀνάρμοστον ἐστὶ παντὶ τῷ θείῳ, τὸ δὲ καλὸν ἀρμόττον [ἐστὶ παντὶ τῷ θείῳ].

Итак, в данной своей функции артикль обеспечивает оформление распространенных определений без помощи подчиненного предложения, вносит тонкие смысловые нюансы в употребление определения посредством различения атрибутивной и предикативной позиции, а также придает определению оттенок особой экспрессии за счет его положения. Но самое главное, что благодаря тесной связи существительного с определением, которую обеспечивает артикль, именная группа всегда остается *целостной*, а значит — получает аванс большой синтаксической *мобильности*, не утрачивая основополагающего качества *единичности*.

2. Субстантивация.

В древнегреческом языке могут субстантивироваться все части речи, словосочетания и даже целые предложения. Роль транспозитора при этом всегда играет артикль (неудивительно, что имен-

но его выделяют в качестве «творца» философской терминологии, способного превратить в субстанцию сколь угодно сложные смысловые конструкции, позволить увидеть их «в анфас»). При субстантивации может иметься в виду некое конкретное существование, но такового может и не быть.

а) *Субстантивация инфинитива.*

Этот вид субстантивации примечателен тем, что здесь в одной словоформе совмещаются полюса разных частей речи. Глагольная форма, сохраняя в неприкосновенности свои первичные грамматические категории (время и наклонение), получает при этом грамматические категории имени (падеж и число; род в данном случае всегда средний). То есть субстантивированный инфинитив сохраняет категории времени и продолжает выражать значение таксиса (одновременность, предшествование или последование), но в то же время обретает возможность вступать в отношения, оформляемые предлогами. Более того, от подобного инфинитива может зависеть еще один, уже не субстантивированный, инфинитив:

χωρίς τοῦ οἶσθαι ὠφελεῖσθαι [Smp. 173c].

б) *Субстантивация прилагательного.*

Таким путем создаются понятия, имеющие обобщающее значение: прилагательное субстантивируется с помощью артикля среднего рода множественного числа τὰ (в русском языке в этих целях используется средний род единственного числа; так, А.Ф. Лосев переводит платиновское τὰ ἄλλα как «иное вообще», а не «иные» [Лосев 1993а: 438]), хотя упускаемая таким образом множественность в характеристике явления может нести важную смысловую нагрузку). В «Пире» же часто встречается субстантивированный оборот τὰ ἐρωτικά [Smp. 207c и др.]: все, что связано с любовью, «дела сердечные», «любовности», «любовное» как таковое.

в) *Субстантивации* нередко подвергаются причастия, а также наречия:

Ἄριστόδημος [...] Σωκράτους ἐραστής ὢν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε [Smp. 173b].

Досл. пер: Аристодем, поклонник Сократа, который среди тех, кто более всех, из тех, кто тогда.

Наречие, получив с помощью артикля морфологические категории имени, берет на себя функцию признака предмета, который имеется в виду. То есть субстантивация в данном случае состоит не в обретении значения предметности вообще — она сводится к обозначению конкретного предмета, название которого было дано в тексте ранее. Так субстантивация оказывается в тесной связи с анафорическими отношениями (о них речь пойдет ниже): правда, в данном случае (в приведенном примере) анафором является не артикль (он только оформляет субстантивацию *μάλιστα* и *τότε*), а субстантивированное словосочетание в целом. Иначе говоря, анафоры здесь — словосочетания *τοῖς μάλιστα* (*οἱ μάλιστα* — «наибольшие поклонники») и *τῶν τότε* (*οἱ τότε* — «те поклонники, которые были тогда»), а антецедент — *ἐραστής*.

d) *Субстантивация словосочетаний и предложений.*

Этот, наиболее красивый, пожалуй, вид субстантивации реализуется с помощью артикля среднего рода множественного числа *τά* в обобщающем значении:

καὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως ἡ περὶ τὰ τῶν πόλεων τε καὶ οἰκήσεων διακόσμησις [Smp. 209a].

Структура данного словосочетания подобна матрешке. В обрамляющую структуру *ἡ — διακόσμησις* помещен оборот *τὰ τῶν πόλεων τε καὶ οἰκήσεων* (субстантивированный с помощью артикля *τά* и выполняющий функцию определения в атрибутивной позиции). В свою очередь, он включает в себя два существительных с артиклем *τῶν*. А все это словосочетание (*ἡ — διακόσμησις*) связано с *καλλίστη* (определение в предикативной позиции).

Более того, субстантивации порой подвергаются целые предложения (со своими подлежащим и сказуемым):

τούτω γὰρ τῷ τρόπῳ πᾶν τὸ θνητὸν σῶζεται, οὐ τῷ παντάπασι τὸ αὐτὸ ἀεὶ εἶναι ὡσπερ τὸ θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον ἕτερον νέον ἐγκαταλείπειν οἷον αὐτὸ ἦν [Smp. 208a].

3. Оформление анафорических отношений.

Сами греческие грамматисты более всего ценили в данном элементе языка его анафорическую функцию (ср. Габучян 1972: 11). Способность греческого артикля быть анафором (то есть отсылать к более раннему языковому выражению — antecedенту) реализовывалась за счет его морфологической гибкости, позволяющей принимать такую же форму (рода, числа, падежа). Отсылка от antecedента к анафору может содержаться как в самом артикле, так и в субстантивированном выражении (когда артикль субстантивирует слово, непосредственно связанное по значению с antecedентом). При этом antecedент может удаляться от анафора чрезвычайно далеко (даже быть в другом предложении): это становится возможным благодаря читаемости отсыла, что обеспечивается одинаковой формой (рода, числа, падежа) артикля и его antecedента. Подобные связи скрепляют текст уже в масштабах, превышающих объем предложения, сам же артикль в таких условиях обретает гораздо большую семантическую наполненность, нежели обычно:

καὶ γὰρ ἔγωγε καὶ ἄλλως, ὅταν μὲν τινὰς περὶ φιλοσοφίας λόγους ἦ αὐτὸς ποιῶμαι ἢ ἄλλων ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι ὑπερφυῶς ὡς χαίρω ὅταν δὲ ἄλλους τινὰς, ἄλλως τε καὶ τοὺς ὑμετέρους τοὺς τῶν πλουσίων καὶ χρηματιστικῶν [Smp. 173c].

На артикль здесь ложится обязанность выполнения сразу трех синтаксических функций: он субстантивирует местоимение ὑμετέρους, оформляет анафорические отношения с предшествующим λόγους, а также присоединяет несогласованное распространенное определение τῶν πλουσίων καὶ χρηματιστικῶν.

Итак, спектр синтаксических функций, выполняемых артиклем, чрезвычайно широк. Эта способность артикля выполнять

множественные синтаксические функции связана с его плеонастичностью, избыточностью. С точки зрения процессов морфологизации и грамматикализации (утрата словом собственной семантики и подчинение его существительному) данная языковая единица уже не обладает такой линейно-синтагматической свободой, как словоформа (хотя в классический период она еще ведет себя именно как автономная словоформа), но еще не привязана намертво к имени. Когда же эллинские диалекты уступили место койне, артикль обрел более сильную связь с существительным и лишился большинства своих синтаксических функций. Поэтому тексто- и смыслообразование у Платона (аттический диалект классического периода) и Аристотеля (койне) различаются радикальным образом — что еще раз подчеркивает особую роль греческого артикля для философской мысли (ср. Васильева 1985).

Но, пожалуй, главное, чем уникален артикль, заключается в следующем. Эта *морфологическая* единица энергично выходит за пределы предложения, то есть демонстрирует выход морфологических принципов на уровень *синтаксиса* и даже *текстобразования* (специальные текстостроительные функции, см. Москальская 1981: 103). Иными словами, это языковая категория, промежуточная между морфологией и синтаксисом.

Как было сказано выше, *флективные*, или *синтетические* языки формируют совсем иной тип философствования, нежели языки *аналитические* (с их установкой на *предельную рациональность/логичность, универсализм выражения и коммуникативную легкость и однозначность*). И если тип синтаксиса небезразличен для типа логического мышления, то тип *морфологии* определяет сам способ смыслообразования и смыслоизменения.

В греческом языке действует так называемая «словесно-парадигматическая» морфологическая модель. С античной грамматикой, в условиях которой сформировалось, в частности, и стоическое представление о *лектон* (допонятийное единство, форма

которого не тяготеет к абстракции, а сказывается в *качестве* «вот этой», единичной, определенности), связан особый тип морфологической (в узко лингвистическом смысле) модели — «словесно-парадигматический».

С точки зрения античных грамматиков, существительные при склонении и глаголы при спряжении не «собирались» из основы и окончаний (которые потом могли подвергаться дальнейшим преобразованиям) — они вообще не делились на основу и окончания. Просто всякий раз исходная (или «прямая») форма слова *изменялась* целиком [...] Слова классифицировались не по тому, какие «окончания» они присоединяют, а по тому, каким образом они изменяются; вместо отношения «иметь одинаковый набор окончаний» вводилось отношение «изменяться так же, как»; образец таких изменений назывался *парадигмой* [Плунгян 2003: 76].

Грамматическое значение здесь не локализовано в одной части, а распространяется по всей словоформе, что обеспечивает необычайно тесную формальную связь лексического и грамматического значений: П. Мэтьюз называл этот феномен «множественной манифестацией» грамматического значения (*multiple exponence*). Таким образом, в данной модели минимальной *единицей* является словоформа (ср. Плунгян 2003: 76): именно слово, в котором лексическое («о чем?») и грамматическое («как?») значения связаны воедино, становится той частью, которая в силах репрезентировать целое (напомню, что и неполные *лектон* представляли собой именно *слово*, а не единицы (сегментные морфемы), его составляющие). Законы слова становятся основополагающими и для новых — текстовых — цельностей, что дает возможность говорить о морфологии в широком смысле: о формах текста, *вырастающих* из грамматики. В этих текстах «то, о чем» и «то, как» тоже слиты вместе настолько, что не могут быть разорваны без ущерба для каждой из сторон. Они могут только меняться вместе. Тем, что обеспечивает возможность совместных преобразований, становится особая — объединяющая и пе-

ременчивая, чувственная и смысловая, то есть вечно переходная — форма, которую греки называли *морфе*, которая дала имя *морфологии* (и как гетевскому «учению о превращении», и как лингвистической дисциплине), и которую Аристотель определял как «схему идеи» (σχῆμα τῆς ιδέας) [Met. 1029a1–7].

Чтобы не распасться, чтобы стать «целым» (ὅλον), а не «всем» (πᾶν), частям необходима морфе: на уровне слога, слова, текста или... платоновской философии. Идея же, с платоновских времен, — это интегративное единство как таковое, ср. Tht. 204a1–2: μία ιδέα ἐξ ἐκάστων τῶν συναρμοττόντων στοιχείων γιγνομένη ἢ συλλάβη. Из отдельных (ἐξ ἐκάστων) звуков (στοιχείων) образуется одна-единственная идея (μία ιδέα), являющаяся/рождающаяся/становящаяся (γιγνομένη) уже чем-то новым, чем-то, что получает и новое имя — ἡ συλλάβη (слог). Можно ли исходя из имеющегося заключить, в чем проявляется единственность и неповторимость этой вновь поименованной (а значит, подлинно выраженной) идеи? В чем проявляется ее фигурность (σχῆμα), ее морфе? Быть может, признаком, указывающим на действие морфе, оказывается определение συναρμοττόντων: отдельные звуки (*каждые*, ἐκάστων), прежде чем стать чем-то новым (слогом), сближаются (букв.: согармонизируются), то есть задают схему и форму того, что еще только должно из них произойти. А морфе как раз и проявляет себя в том, что модифицирует эти звуки, согармонизирует и приспособливает их друг к другу, будучи контуром (σχῆμα) будущего слога: энергировывает их в качестве не обособленностей, но — смысловых частей.

В дальнейшем жест согармонизации охватывает все большие сегменты текста, и здесь на помощь приходит артикль. Отслеживая его «поведение» в тексте, можно пройти по следам формы-морфе при переходе от узко морфологического уровня к синтаксическому. Разумеется, действие этой особой подвижной формы к артиклю не сводится, но именно он способен показать, какими путями движется мысль греческого философа в процессе смыслостроения. А это — необходимое условие целостного понима-

ния текстов, где философия и поэзия слиты воедино в своем символическом устройстве — текстов, которые привыкли не столько понимать, сколько препарировать.

В «Пире» Платон, устами Аристофана, говорит, что

ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστὶν ἀνθρώπου σύμβολον, ἄτε τετμημένος ὡσπερ αἱ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο· ζητεῖ δὴ αἰεὶ τὸ αὐτοῦ ἕκαστος σύμβολον, каждый/отдельный из нас есть половинка знака гостеприимства/символ человека, так как был разрезан наподобие камбал — из единого два; так вот и ищет каждый/отдельный всегда свою половинку [Smp. 191d].

Однако же,

φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς θεοὺς, ὅπως μὴ καὶ αὐθις διασχισθῶμεθα, καὶ περίμεν ἔχοντες ὡσπερ οἱ ἐν ταῖς στήλαις καταγραφῆν ἐκτετυλωμένοι, διαπετρισμένοι κατὰ τὰς ρίνας, γεγονότες ὡσπερ λίσται,

есть опасение, что если мы не будем скромными по отношению к богам, как бы вновь нас не раскололи: останемся мы тогда, как начертания, выгравированные на надгробиях, распиленные по профилю, — станем, будто [сразу обе] половинки знака гостеприимства [Smp. 193a].

Выходит, что σύμβολον (половинка игральной кости, монеты и т.д.) — еще не худший вариант: у него еще есть потенциальная возможность целостности. Ее не имеют λίσται (обе половинки игральной кости) как суммативные части: положенные на одной плоскости, лишённые возможности поворота навстречу друг другу. Половинки платоновской философии — «философская» и «литературная» — нуждаются в этом повороте, чтобы образовать целостность, которая предполагается греческим логосом и осуществляется формой-морфе греческих текстов.

О том, каким может быть жест исследовательской мысли, помогающий этот поворот осуществить, речь пойдет во второй части данной статьи.

Источники и литература

- Met. — *Aristotle*. Aristotle's *Metaphysics* / ed. W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1924.
- Smp. — *Plato*. *Symposium*. *Platonis Opera* / ed. John Burnet. Oxford University Press, 1903.
- Tht. — *Plato*. *Theaetetus*. *Platonis Opera* / ed. John Burnet. Oxford University Press, 1903.
- Аверинцев 2001 — *Аверинцев С.С.* Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда // Аверинцев С.С., Франк-Каменецкий И.Г., Фрейденберг О.М. От слова к смыслу: Проблемы тропогенеза. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 81–121.
- Балли 1955 — *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Издательство иностранной литературы, 1955.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Бибихин 2005 — *Бибихин В.В.* Витгенштейн: смена аспекта. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005.
- Васильева 1985 — *Васильева Т.В.* Афинская школа философии (философский язык Платона и Аристотеля). М.: Наука, 1985.
- Габучян 1972 — *Габучян Г.М.* Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса. М.: Наука, 1972.
- Гумбольдт 2001 — *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию / Пер. с нем., общ. ред. Г.В. Рамишвили; М.: Прогресс, 2001.
- Есперсен 2006 — *Есперсен О.* Философия грамматики / Пер. с англ., общ. ред. и пред. Б.А. Ильиша. Изд-е 3-е, стереотип. М.: КомКнига, 2006.
- Кондильяк 1980 — *Кондильяк Э.Б. де.* Соч. в 3-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1980.
- Кюнг 1999 — *Кюнг Г.* Онтология и логический анализ языка / Пер. с нем. и англ. Никифорова А.Л. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
- Лосев 1993а — *Лосев А.Ф.* Античный космос и современная наука / А.Ф. Лосев. Бытие — имя — космос / Сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993. С. 61–612.
- Лосев 1993б — *Лосев А.Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993.
- Москальская 1981 — *Москальская О.И.* Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981.

- Перельмутер 1980 — *Перельмутер И.А.* Философские школы эпохи эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980. С. 130–214.
- Плунгян 2003 — *Плунгян В.А.* Общая морфология: Введение в проблематику: Учебное пособие. Изд. 2-е, исправл. М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Потебня 1976 — *Потебня А.А.* Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976.
- Свасьян 2001 — *Свасьян К.А.* Философское мировоззрение Гёте. М.: Evidentis, 2001.
- Сепир 1993 — *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993.
- Соссюр 1990 — *Соссюр Ф. де.* Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990.
- Соссюр 1977 — *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Уорф 1960 — *Уорф Б.Л.* Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С. 135–198.
- Хайдеггер 2002 — *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. Изд-е второе, исправленное. СПб.: Наука, 2002.
- Хайдеггер 1998 — *Хайдеггер М.* Прологомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 1998.
- Хайдеггер 1993 — *Хайдеггер М.* Путь к языку // Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 259–273.
- Широков 1983 — *Широков О.С.* История греческого языка. М.: Издательство Московского Университета, 1983.
- Ячин 2006 — *Ячин С.Е.* Слово и феномен. М.: Смысл, 2006.